

Владимир ЛИДСКИЙ

НАСЛЕДСТВО

Мне самому странно, что я рассказываю эту историю как старик, как человек, проживший большую жизнь и пытающийся оглянуться на сорок пять лет назад, в 1970 год, когда мне было только тринадцать и моя будущая судьба казалась бесконечной. Из сегодняшнего дня действительно странно видеть себя подростком и уж совсем фантастикой представляется мне соотнесение моей самой обыкновенной жизни с жизнью моих сверстников, родившихся в начале двадцатого века, ещё до революции. Это сейчас я понимаю, что история есть цепь неразрывных событий и люди в ней соединены тысячами неведомых нитей, а тогда я был просто мальчишкой, одержимым кладоискательской идеей и помешанным на зарытых где-то в неведомых краях золотых монетах...

Был пасмурный прохладный день, и тот далёкий август уже едва-едва просматривается из сегодняшнего далека. Многие детали стёрлись из памяти но, тем не менее, я достаточно отчётливо вижу общую картину: вереница автобусов, готовых к отправлению, озабоченные вожатые в белых рубашках с красными пионерскими галстуками на шеях и сами пионеры, суетливо занимающие места; кто-то возбуждён сверх меры, кто-то, напротив, несколько настожен, но все, как минимум, озадачены предстоящей разлукой с родителями и перспективой почти самостоятельной, вне родительской опеки, жизни в пионерском лагере.

Мне не удалось урвать место у окошка; уже в те годы я хорошо понимал, что для того, чтобы быть первым, нужна наглость, ну, или, по крайней мере, дерзость, чего в моём характере отродясь не бывало. Зато, сидя у прохода и почти в самом конце автобуса, я имел возможность видеть весь салон, что мне, как человеку обожающему наблюдать за другими, очень нравилось.

И вот, разглядывая своих товарищей, я заметил впереди, за два-три ряда от себя красивую девочку, прильнувшую к окну. Она с грустью смотрела вниз, на тротуар, где стояли её родители, и, казалось, что-то шептала. Губы её шевелились, косичка вздрагивала, и когда кто-то из задних рядов окликнул её, она обернулась... и я увидел слёзы у неё в глазах, готовые вот-вот пролиться. Я встретился с ней взглядом, и в моих зрачках, видимо, было нечто больше, чем просто жалость; медленно моргнув, она уронила две большие слезы и снова повернулась к окну.

Автобусы тронулись.

Мы ехали часа полтора, и всё это время я неотрывно смотрел на неё. Тонкое личико вполборота ко мне было безучастным, она, почти не шевелясь, сидела на своём месте и думала о чём-то своём. Тонкий, чуть вздёрнутый носик, короткая косичка, нежные завитки волос на шее, маленькое розовое ушко и часть щеки – вот всё, что мне было видно. Я смотрел на неё и больше ни на кого не хотел смотреть.

Потом нас привезли в лагерь и расселили по палатам, устроенным в большом старинном усадебном доме. Усадьба была старая, дореволюционная, уже совсем ветхая, хотя и несколько подновлённая. Стены в палатах были выкрашены свежей краской, потолки побелены, а старинные бронзовые канделябры, чудом сохранившиеся на стенах и приспособленные под электрические лампочки, – тщательно вычищены. Видно было, что перепланировке усадьба не подвергалась, всё было безусловно на своих местах, во всяком случае я узнавал и строения, и дорожки парка, и окрестные дали.

Как можно было узнавать место, куда я совершенно точно никогда в жизни не приезжал? Как можно было видеть людей, которые здесь когда-то жили, и представлять себе их место в этом ландшафте? И, тем не менее, я узнавал, видел и представлял.

Все местные красоты, – прекрасные пейзажи, тенистые уголки парка, далёкий пруд, который был виден с пригорка, все строения, – и усадебный дом, и флигеля, и хозяйственные постройки, – всё это я видел на картинах моего дедушки, погибшего совсем молодым в 1939 году. Картины висели в нашей коммунальной комнатухе по сей день, а сама усадьба когда-то была собственностью фамилии Бернацких, то есть нашей семьи. Мой прадедушка – полковник Владимир Бернацкий после 1917 года был директором Одесского кадетского корпуса и сыном Александра Бернацкого, купившего усадьбу ровно век назад, в 1870 году... История

нашей усадьбы – дело давнее, трудное и рассказать её мне, может быть, ещё доведётся в какие-нибудь иные времена...

Итак, мы разместились в палатах на втором этаже, и я занял крайнее место у окна, откуда хорошо был виден угол немного одичавшего парка и белый купол старинной ротонды, поставленный неизвестным архитектором на взгорье недалеко от пруда.

Потом нас повели на обед в столовую, и я узнал этот усечённый интерьер: когда-то столовая была раза в два больше, по крайней мере так она выглядела на одном из холстов моего дедушки. Впрочем, в те давние времена это была не столовая, а бальный зал, и дедушкина картина изображала как раз большой праздничный бал, на котором танцевали старорежимные гости, которых, я думаю, уже давным-давно нет на этом свете. Большой кусок зала был отрезан глухой стеной, за которой, очевидно, когда-то устроили кухню и подсобные помещения, может быть, кухонные склады или холодильные камеры.

Между обшарпанными мраморными колоннами стояли длинные деревянные столы, покрытые клеёнкой; войдя, мы расселись и каждый выбрал место по своему усмотрению. Нашему второму отряду досталась линия возле окон, и я сел лицом к свету, чтобы видеть дальний парк и белый купол старинной ротонды.

Как получилось, что девочка из автобуса, на которую я заглядывался в дороге, села почти против меня, я не понимал; может, то было случайностью, а может, и нет. Она сидела не строго напротив, а немного наискосок, и я имел возможность потихоньку наблюдать за ней. Она была очень красивая и её ничуть не портили даже густые веснушки, рассыпанные по всему лицу. Дерзкий вздёрнутый носик, волосы, слегка отливающие медью, полные, очерченные изящной линией губы, мягкий овал подбородка и зелёные, наполненные светом глаза. Платье на ней было белое, простенькое, усыпанное какими-то невзрачными цветочками, и одного нескромного взгляда на её открытую грудь, уже наполняющуюся женскою статью, мне хватило для того, чтобы смутиться и покраснеть. Она заметила, что я исподтишка разглядываю её, и вместо того, чтобы рассердиться, слегка улыбнулась мне. Я покраснел ещё больше и уткнулся в тарелку с супом. Потом уже я боялся смотреть в её сторону, но чувствовал, что она время от времени поглядывает на меня.

После обеда ребята нашего отряда решили сразиться в картишки и отправились в большую общую рекреацию, где стоял телевизор и столы для настольных игр. Мне картишки были неинтересны, к тому же никого из парней я не знал, а знакомиться не торопился, потому что с детства был довольно стеснителен. Перед усадебным домом, или, как его теперь называли, *корпусом* располагалась старинная, очень потрёпанная вихрями ушедших эпох беседка, где я решил бездумно посидеть после обеда.

Через несколько минут в беседку влетела, с размаху зацепившись рукою за входной столбик, моя зеленоглазая полузнакомая, плюхнулась на скамейку и бесцеремонно сказала:

– Привет!

– Привет! – ответил я, снова смутившись.

– Как зовут? – ещё более бесцеремонно спросила она.

– Алексей... Лёша...

– А меня – Стёпа!

Я озадаченно захлопал ресницами, пытаюсь оценить шутку, но она понимающе улыбнулась и сказала:

– Не напрягайся... Степанида меня зовут... правда, странные у меня родители?

– Отчего же? – ответил я. – Почему бы не Степанида? А в школе тебя, наверное, Дядей Стёпой дразнили?

– Ага, точно... откуда ты знаешь? Хотя каждый, кто решается на это, тут же огребают по полной!

Мы расхохотались, и я сразу почувствовал себя свободнее.

Вечером, уже в глубоких сумерках, наш отряд резвился на парковой лужайке. Лужайку я, кстати, тоже сразу узнал по пейзажному этюду дедушки, только деревья и кусты на ней за много лет разрослись и сузили открытое пространство. Здесь стояло несколько старинных фонарей на литых чугунных опорах, они были включены, и их приятный жёлтый свет основательно теснил сумерки, выхватывая из полутемноты толстые стволы деревьев и колеблемые влажным ветром тёмно-зелёные шары кустов. Несколько парней невдалеке играли в *ножички*, а остальные в самом центре лужайки заводили *ручеек*. Если *ножички* считались сугубо мальчиковой игрой, то уж *ручеек* был однозначно общим. Эта интимная забава нравилась

всем без исключения, впрочем, исключение как раз и составляли те, кто оттачивали своё мастерство в метании заострённого напильника.

Ручеёк нашего отрочества был нехитрой игрой: мальчики и девочки выстраивались в колонну по двое, взявшись за руки, подняв их и образовав некое подобие грота, внутри которого пробегал водящий, не имевший пару и по мере прохождения сквозь грот эту пару себе выбиравший. Естественно, пара выбиралась по принципу личных симпатий и в этом дружелюбном выборе как раз и заключался тайный смысл игры. Тот, кто в результате утраты партнёра оставался без пары, сам становился *ручейком* и заходил в грот, чтобы подобрать себе друга или подругу. Я дважды, что называется, для отвода глаз выбирал незнакомых девчонок, а потом выбрал её, Стёпу, и мы долго стояли, держась за руки, пока кто-то не увёл её от меня. На моей ладони осталось нежное прикосновение её пальцев, оно было таким мягким, приятным, почти невесомым, – я чувствовал её всю и слышал едва ощутимый ток крови в её жилках... Это было такое сильное чувственное переживание, такое волнительное и будоражащее, что у меня перехватывало дыхание и я боялся посмотреть на неё, чтобы взглядом не выдать своих сокровенных ощущений, за которые мне было даже немного стыдно... А она улыбалась в жёлтых бликах неверного света и улыбка её была какой-то нечёткой, размытой, рассеянной... И мы без конца выбирали и выбирали друг друга, – до самой темноты, до самой ночи, до тех пор, пока вожатые не стали загонять нас в палаты...

А потом, засыпая, я всё видел рассеянную улыбку и её милое личико с рассыпавшимися по щекам веснушками... она что-то говорила, но я уже не слышал, я уже спал, качаясь на волнах сновидений, – до самого утра, до первых солнечных бликов, соскальзывающих с оконной рамы на мою подушку...

Утром мы бежали на зарядку; она с неуклюжей грацией неслась впереди, – простоволосая, в красной футболке, туго облегающей её стан, в котором уже прочитывались нежные и плавные линии наступающей юности, – как-то очаровательно растопыривала локти и смешно задирала коленки... я смотрел ей в спину, в её бойкие лопатки и вдруг, заглядевшись, наткнулся на бегущего рядом товарища...

После завтрака, если не было общелагерных мероприятий, мы разбредались кто куда. Мальчишки шли на футбольное поле, девчонки – на волейбольное, кто-то шёл в кружки, кто-то резался в настольный хоккей или бильярд. Иногда всем отрядом ходили в парк или на усадебный пруд, где нам разрешалось купаться, а то под присмотром бдительных вожатых отправлялись в дальний лесок по грибы или по ягоды.

Я обожал собирать грибы; более грибов я обожал малину, и не было счастливее дня, когда вожатая Лена объявляла нам, что мы идём в лесной малинник. Все готовили для сбора разномастные стеклянные банки, давно освободившиеся от родительских гостинцев, а кто не имел банки, скручивал ненадёжные газетные кульки, и вот уже весёлая беззаботная ватага вываливалась в яркий солнечный день, в знойную дымку над горячей сельской дорогой, в золотую пыль просёлка... Мы доходили до кромки леса, получали подробный и строгий инструктаж вожатой Лены и разбредались по опушкам в поисках малиновых зарослей.

Я всегда бродил в паре со Стёпой, мы как-то незаметно стали неразлучны, и другие товарищи были не нужны нам.

В тот день мы тоже шли вместе, рассказывая друг другу глупые смешные истории и хотали на весь лес, как ненормальные. Стояли последние жаркие дни, лесные поляны дышали зноем и над ними с густым гудением летали одуревшие от солнца шмели, а в густой высокой траве стрекотали кузнечики. На одной из таких полян мы набрали на нетронутый малинник и с азартом кинулись собирать большие тяжёлые красно-фиолетово ягоды. Запах вокруг стоял одуряющий и головы у нас кружились; малиновый аромат висел над поляной, накрывая её душным одеялом... мы были почти пьяны от этого сладкого воздушного питья, от этой безграничной свободы, от этого синего неба над головой...

Быстро наполнив свои банки и попутно объевшись ягодой, мы сели передохнуть. За нашей спиной стояли малиновые кусты, впереди была пропитанная пахучим травяным зноем поляна... я с размаху, раскинув руки, упал на спину и опрокинул стоявшую возле меня банку. Малина посыпалась в траву. Смеясь, мы бросились её собирать и... столкнулись лбами, – взвизгнув, Стёпа принялась смеяться ещё пуще, а я, потирая ушибленный лоб, вдруг остановился и взглянул ей в лицо. Веснушки прыгали на её щеках и на задорно вздёрнутом носике, незаплетённые в косичку волосы мотались из стороны в сторону, весёлые чёртики скакали в глазах... я пристально смотрел на неё, пытаюсь что-то разглядеть, угадать нечто ранее недоступное... тут её движения замедлились, рыжеватые волосы стали плавно раскачиваться, а я

всё смотрел и смотрел... она перестала смеяться и, зацепившись за мой взгляд, остановилась... опираясь рукой о землю, она приблизила ко мне своё лицо, и я ощутил густой запах малины с её губ, она смотрела мне в глаза и всё приближалась, приближалась... кузнечики стрекотали изо всех сил, невидимые птицы в полный голос пели свои песни... я видел её потемневшие зелёные глаза и отчего-то непонятная мне мольба прочитывалась в них... она подвинулась совсем близко и тихо-тихо прикоснулась губами к моим губам... я ощутил не просто вкус малины, а малиновый взрыв, и сладкая расслабленность разлилась по всему моему телу... я пил этот ягодный сироп с её мягких, разгорячённых зноем губ и ощущал себя почти растворённым в её влажном теле, в этом необъятном мире, в этом августовском зное...

А потом мы лежали в глубине смятой травы, посреди её острых дурманных запахов – рядышком, голова к голове, и смотрели в синее-синее небо...

Но время бежало, – по солнцу мы видели, что близится полдень; нам нужно было возвращаться к месту сбора, на поляну, где ждала своих сборщиков ягод вожатая Лена.

Я встал, подал руку Стёпе, она тоже поднялась и мы побрели в сторону поляны.

На небольшом, свободном от деревьев пятачке, в редком кустарнике мы встретили парней нашего отряда. Они вышли из сосновой тени и направились к нам. В руках у них были банки с малиной. Впереди шёл Витя Золотарёв по кличке Чубатый, его сопровождали Уколов и Печенёв.

– А-а, – сладострастно протянул Чубатый, – вот они, наши красавчики... Глянь-ка, – он повернулся к Печенёву, – они тоже малинки собирали...

– Слышь, ты... как там тебя? – подхватил Печенёв. – Алёша, что ли? Ты чё это от коллектива отрываешься? Ты чё с этой тёлкой всё время?

– Ага, точно, – вступил Уколов, – ты ж в отряде, дурик! Может, ты хочешь себя коллективу противопоставить? А как коллектив на это посмотрит, ты разве не думаешь?

– Чё хотели, парни? – сказал я, напрягшись, и сердце моё сильно забилось. – Конкретно предъявите чё-нить...

– Какое тебе конкретно? – сказал Чубатый. – Куда ещё конкретнее? Чё ты вечно сам по себе? И чувиху свою за собой тянешь...

– А с какого я должен на постоянку в стаде ходить? – спросил я.

– Это мы – стадо? – удивился Чубатый. – Ты чё, сынок, нюх потерял?

Он подошёл ко мне совсем близко и грубо толкнул в плечо. Я выронил банку с малиной. Тут сбоку вылетела Стёпа и обеими руками пихнула его так сильно, что он полетел на землю. И пока он пытался встать, началась самая настоящая драка. Кто-то заехал мне кулаком в лицо, я упал и на мгновение выпал из сознания. Очнувшись, я увидел, что Печенёв одной ногой подпирает мою грудь, а вдалеке стоят Чубатый и Стёпа; Чубатый держит Стёпу за волосы и как бы отпихивает от себя, потому что она дёргается, извивается и всё норовит ударить его.

Наконец они бросили нас и сошлись вместе; Чубатый вдруг что-то надумав, вышел на середину прогалины, раздвинул ногой траву и нашёл мою банку с высыпанной наполовину малиной. Подняв банку, он ухватил её покрепче, размахнулся и изо всех сил метнул в дальнюю берёзу. Банка с глухим дребезгом взорвалась, и на дереве расплылось густое малиновое пятно...

Мне всегда было одиноко в этой жизни. Родители меня любили, но жили своими интересами, в которых мне не было места. Я был стеснительным и всегда сторонился сверстников, мне было скучно с ними. Я любил книги и кино, и ничего не хотел в жизни кроме книг и кино.

Я лежал в темноте на своей крайней койке и смотрел в окошко: вдалеке тянулась непроницаемая полоса паркового массива и над нею возвышался купол старинной белой ротонды, моей мечты, моей цели, моей тайны. Я думал, что если найду золото, то не стану кричать об этом на каждом перекрёстке, ибо мне не нужна сомнительная слава кладоискателя. Я расскажу об этом только Стёпе, и мы будем гордиться своей находкой тайно, никого не допуская к золоту, а, возможно, и к чему-то иному, что, может быть, удастся ещё найти. При чём здесь коллектив? В конце концов это золото принадлежит моей семье!

Да, я не любил коллектив, насколько это было возможно, обособлялся от него и всегда старался самостоятельно принимать необходимые решения. Почему я должен быть как все? Почему я должен шагать в общем строю? Война, что ли на дворе? Война – дело другое, здесь я в общий строй встану без разговоров, но ведь сейчас не война... Почему все подчиняются общей команде, по команде кушают, по команде ложатся спать? Скоро в туалет нас начнут водить строем. Давайте тогда и дышать будем по команде...

Утром я проснулся от омерзительного запаха зубной пасты. Всё моё лицо, волосы, подушка и одеяло были измазаны полусохшей пастой. Искорёженный тюбик «Лесной сказки» валялся рядом с тапочками, которые тоже благоухали химической мятой.

Когда я сел на кровати, вся палата загрохотала хохотом. Хохотали все, это было ужасно обидно, и более всего оттого, что я не мог постоять за своё достоинство. Кто конкретно совершил эту подлость, а в том, что ночная диверсия – подлость, а не шалость, я не сомневался, и с кем необходимо драться? Нужно было драться, но не со всей же палатой? Конечно, подозреваемые легко угадывались, и они хохотали громче всех, однако, где доказательства?..

Из репродукторов радиорубки неслась бравурная музыка, её перекрывал голос лагерного физрука Мая Михалыча, настырно и бесцеремонно влетающий в открытые окна палаты:

– С добрым утром, товарищи пионеры! Через пять минут на лагерной линейке состоится физкультурная зарядка! Форма одежды – летняя спортивная, мальчики – без маек!

Все шумно помчались на зарядку, а я поплёлся в умывальник отмыть пасту. «Зачем, – думал я уныло, – зачем? Для чего эти тупые развлечения? Вы же уроды, вы же просто самые настоящие уроды... Как можно находить удовольствие в унижении человека, как можно радоваться чужой боли, чужой обиде? Отчего столько злобы в человеке? Не могу понять! Заставьте меня окончить три раза по десять классов, я всё равно этого никогда не пойму! Вас родители этому учили? Может быть, учителя? Или того хуже – лагерные вожатые? Что за радость – вымазать человека зубной пастой? Ради смеха? Ну да, вы же смеялись... Только что здесь смешного?..»

Весь день я ходил как оплётанный, никто со мной не разговаривал, за спиной хихикали, а в столовой исподтишка тыкали в меня пальцем.

А через два дня наш отряд отправился в поход. Это была неслыханная привилегия. В поход ходили только лучшие отряды, и право углубиться в лес на десяток километров, жечь костры, готовить на них еду и спать в палатках нужно было заслужить. Походная романтика стоила дорого: самой большой заслугой считалось первенство отряда в смотре строя и песни, далее по степени значимости стояла вылизанная территория вокруг главного корпуса и идеальная чистота в палатах. Ну, и поведение, разумеется. Если бы руководство лагеря узнало бы, к примеру, о безобразной драке в лесу или об инциденте с зубной пастой, то не видать бы нам похода как своих ушей.

Накануне пионерская орггруппа получила у Мая Михалыча палатки и всё необходимое оборудование, завскладом выдал хлеб, консервы и макароны, и весь вечер накануне похода мы готовились к выступлению.

Вожатая Лена за ужином спросила, есть ли среди нас барабанщики? Барабанщик во всё время пути должен был идти впереди отряда и вдохновлять пионеров на походные подвиги. Гитаристы среди нас были, был даже один пианист, а вот барабанщиков не случилось. И тогда я поднял руку. В позапрошлом году я немного играл на ударных в школьном ансамбле и наша маленькая группа имела немалый успех. Навык у меня был и справиться с простым пионерским барабаном для меня не составляло труда. Наши парни, увидев мою поднятую руку, переглянулись и презрительно скривили губы.

На следующее утро мы выступили в поход. Погода была прекрасная, наш путь начался ещё до рассвета и мы шли в зябкой предутренней прохладе, но вскоре поднялось солнце, осветив наши макушки и согрев слегка озябшие тела. Я, конечно, хотел идти рядом со Стёпой, но мне было поручено важное дело, и я должен был исполнять свой долг. Я шёл в авангарде отряда, рядом с Маём Михалычем, на шее моей висел барабан, а в руках были барабанные палочки. Позади шёл отряд и первые час-два все двигались весело и спорно, но вскоре устали и уже с трудом волочили ноги, через силу таща тяжёлые рюкзаки. Физрук дал мне знак, и я принялся с чувством барабанить изо всех сил, пытаюсь подбодрить своих товарищей.

Вскоре мы вышли на берег небольшой речки, где решили остановиться и сделать привал. Искупались, и каждый нашёл себе дело по душе: несколько парней стали ставить палатки, другие отправились рыбачить, девочки занялись продуктами и посудой, а Май Михалыч вместе с вожатой Леной принялся разжигать костёр.

Мы со Стёпой тоже вдохновились рыбалкой, взяли удочки и отправились на речку. Долго искали место и нашли тихую красивую заводь, где вода медленно струилась под берегом и нежно перебирала зелёные волосы водорослей. Место было прекрасное; справа стояли две

ивы, опустившие свои длинные ветки в воду, слева на мелководье росли камыши, на верхушках которых сидели разморенные зноем стрекозы, а впереди, за узкой полоской подводных растений виднелось открытое пространство с лёгким течением, куда мы и закинули свои удочки.

Посидели мы совсем немного, минут, может, десять или пятнадцать... я смотрел на Стёпу, а не на реку, – мне река не очень была интересна, хоть я и обожал рыбную ловлю. Лёгкий ветерок трепал стёпины волосы, она смешно хлопала ресницами, вглядываясь в мерцающую воду... я нетвёрдо держал удилице и любовался её веснушками... вдруг Стёпа молча, но очень энергично ткнула пальцем куда-то в глубину, я перевёл взгляд на реку и увидел, что мой поплавок нырнул и ушёл в глубину. Я подсёк и потянул удилице, леска напряглась, но не двинулась... тогда Стёпа тоже вцепилась в моё удилице и мы вдвоём принялись выводить. Через некоторое время, употребив все свои силы на упорную борьбу с таинственной силой, мы выволокли на берег огромную рыбину неизвестной породы.

Наше появление в походном лагере вызвало фурор, – весь отряд приветствовал нас восторженными криками и воплями.

Рыбу быстро почистили, разделали, положили в котёл, добавили туда с десятков мелких рыбёшек, выловленных другими участниками рыбалки, и сварили знатную уху, которой вскорости объелись все участники похода.

Так мы со Стёпой стали героями дня.

Вечером мы сидели возле костра, наши товарищи пели песни, а мне хотелось оставаться в этом лесу до скончания века. Рядом со мной сидела Стёпа, мы никого не раздражали и никому не мешали, на нас никто не косился, только вожатая Лена да физрук Май Михалыч с беспокойством изредка поглядывали в нашу сторону. Я держал стёпину руку, её ладошка лежала в моей, словно пригревшийся мышонок, Стёпа склоняла голову на моё плечо и касалась меня своей коленкой. Мы сидели тесно-тесно, и я через свитер чувствовал её тепло, она дрожала, – то ли от холода, то ли от волнения, и эта дрожь передавалась мне. Позади нас стоял плотную стеною влажный лес и охлаждал наши спины. Мы смотрели в огонь, который завораживал и добавлял волшебства в наше согласное молчание, потом мы одновременно повернули головы друг к другу и так же одновременно встали. Незаметно отойдя в сторону, под сень колочих ёлок и мягких, щекочущих ветвей лиственных деревьев, мы стали друг против друга на колени и Стёпа протянула руку к моему лицу. Её рука была такая ласковая, её пальцы с такой осторожностью касались моей щеки, что у меня перехватило горло от нежности... мне захотелось обнять её и этим объятием защитить от всего мира, от всего враждебного и опасного мира... она пристально смотрела на меня, и я чувствовал её прерывистое дыхание. Она волновалась. Я сидел против видневшегося вдалеке костра и в глазах Стёпы видел маленькие огненные язычки, отражавшиеся, наверное, от моих глаз... Мне трудно было смотреть в эти весёлые изменчивые огоньки, они отвлекали меня от главного и, чтобы не видеть их, я обнял её и осторожно прижал к своей груди. Она была такая мягкая и хрупкая... одна моя рука лежала на её спине, чуть ниже левой лопатки, а другая – на талии, плавно переходящей в нежную вышность... я умирал от любви... она почему-то опять пахла малиной... положив голову на моё плечо, она что-то шептала мне в ухо, и от этого шёпота мурашки разбежались по всему моему телу...

– Стёпочка, – сказал я и потихоньку прикоснулся губами к её губам. Снова я ощущал малиновый вкус её любви, снова держал в руках её трепещущее тело и мир вокруг казался мне совсем неинтересным и недостойным моего внимания.

Потом мы вернулись к костру и ещё долго сидели все вместе до тех пор, пока не догорел костёр. Ночная прохлада уже охватывала нас со всех сторон, а мы всё ждали, когда наконец остынут угли, чтобы потаскать из них печёную картошку. Прутиком я доставал из золы чёрные мячики картохи, выкатывал их на траву и, обжигая пальцы, чистил для Стёпы.

Утром мы вышли из палаток и увидели, что погода испортилась. Было холодно, накрапывал мелкий дождь и порывами налетал ветер. Настроение у всех сразу испортилось. Мы быстро собрали вещи, свернули палатки, закопали мусор и тронулись в обратный путь. Пройти нужно было не менее десяти километров. Дождь слегка накрапывал и поначалу это никого не напрягало. Мы успели преодолеть около трети пути, и вдруг разразился жуткий ливень. Дождь стоял стеной, – все во мгновение вымокли. Я шёл, как и прежде, впереди отряда и Май Михалыч, взглянув на меня, пошевелил руками, имитируя движение барабанных палочек. За

спиной у меня висел стёпин рюкзак, на шее барабан; я отряхнул воду с ладоней и рубанул маршевый пассаж. Барабан был залит дождём, я лупил по воде и шёл вперёд, оскальзываясь на мокрой глинистой почве. Спиной я чувствовал, что отряд позади приободрился и веселее шагает к цели. Май Михалыч одобрительно взглянул на меня. Мы шли и шли, а я всё лупил и лупил палочками по барабану, иногда сбиваясь, но в целом сохраняя маршевый ритм. Так прошли мы половину пути. Все были мокрые, с трудом тащили свои набрякшие влагой рюкзаки... к ногам прилипла вязкая глина, и идти становилось всё труднее. В стороне от меня шли Чубатый и Печенёв, – последний из их неразлучной троицы, Уколов, отстал и плёлся где-то в хвосте отряда; вдруг оттуда раздался крик и движение остановилось. Вожатая Лена, замыкавшая строй, позвала Май Михалыча, и он двинулся вглубь колонны, а за ним зачем-то увязался и я. Оказалось, Уколов, зацепившись за сук, упал и вывихнул ногу. Я вызвался помогать ему, отдал стёпин рюкзак физруку, свернул барабан набок и подхватил колченогого Уколова. Он не возражал, повис на мне всем телом и, постанывая от боли, как-то пытался ковылять. Время от времени мы останавливались, и пока он отдыхал, я выколачивал из барабана оптимистические марши, подбадривая товарищей. Через некоторое время ко мне присоединилась Стёпа, и мы вдвоём потащили Уколова по скользкой дороге...

На следующий день двое из походного отряда оказались простуженными, их отправили в изолятор, а Уколову наложили в санчасти фиксирующую повязку и отпустили в отряд. С остальными всё было нормально.

Прошло уже более недели от начала смены, а я всё никак не мог приступить к осуществлению своей миссии, ради которой, собственно, и приехал в этот пионерский рай. Старинная белая ротонда с колоннами возвышалась над парком и манила меня к себе, а я всё никак не мог выбраться туда и изучить обстановку на месте. Холм, увенчанный ротондой, сильно порос неухоженным кустарником и одичавшими липами, дорожки давно исчезли, и эти обстоятельства утешали, потому что для моих дел лишние глаза там были не нужны.

В нашем семейном фотоальбоме, который едва не погиб в исторических передрыгах, сохранились хорошие фотографии усадьбы, парка и обитателей усадебного дома, всех этих многочисленных тётушек, бабушек, нянек, двоюродных братьев и прочего родственного киселя. Я очень любил перебирать фотографии, вглядываясь в лица давно ушедших эпох и изучать потаённые уголки *своей* усадьбы. За это удовольствие я должен был благодарить троюродного дедушкиного брата Валерия, который сумел сохранить историческую память нашей семьи. Я разглядывал фотографии и, даже не зная, кто именно на них изображён, легко находил в красивых лицах фамильные черты. Возможно, они и не были такими уж красивыми, но сколько стати и гордого достоинства я видел в их фигурах, какое благородство светилось в их прямых и честных взглядах! Да, то была порода людей с принципами, с убеждениями и не мудрено, что когда-то их выжигали калёным железом.

В прошлом году, когда благодаря дедушкиной живописи наша семья узнала кое-что о тайне старинной белой ротонды, я стал пристальнее вглядываться в фотографии усадебного парка и его построек. В парке имелись беседки, павильоны, гроты, но главным и доминирующим над окрестностями сооружением, если не считать усадебного дома, была, конечно, ротонда. На фотографиях она выглядела лучше, чем сейчас, видимо, потому, что в тридцатые усадьба окончательно перешла в собственность каких-то профсоюзов, и в главном её здании был устроен санаторий для рабочих местного машиностроительного завода. Перед началом первого санаторного сезона профсоюзное начальство добилось ремонта всех усадебных построек, в том числе, конечно, и ротонды. Так что на фотографиях того времени она выглядит очень хорошо, но немножко не так, как на живописном полотне дедушки.

Я на эту картину обратил внимание ещё в детстве. Стены нашей маленькой коммунальной комнатухи были сплошь завешаны дедушкиными картинами и этюдами. Мне всегда казалось, что я родился с этими картинами одновременно, и потом, когда несколько подрос, думал, будто они принадлежат мне от века и я ношу их в карманах своих сатиновых шароваров. Действительно, будучи младенцем, я лежал под ними в колыбели, или что там было у меня во младенчестве, – очевидно, какая-то детская кроватка... но вот кроватку я не помню, а дедушкины картины сопровождали меня всю жизнь и каждую (а их, наверное, были сотни) я выучил наизусть. Ничего особенного в них не было, – обычные пейзажи, портреты и натюрморты; думаю, что если бы они несли в себе какую-нибудь дополнительную смысловую нагрузку, то были бы после ареста их автора всенепременно сожжены. Но в них не было никаких

аллегорий, разоблачений или сатирических выпадов. Поэтому полотно не тронули, и прекрасный парковый пейзаж со старинной ротондой на первом плане дождался наших дней в целостности и сохранности. Эта картина с самых ранних моих лет чем-то неудержимо притягивала меня, в ней было некое волшебство, нечто невыясненное или недовыясненное. В ней содержалась тайна, но какая именно, было неясно, и с тех самых пор, как я начал осознавать себя, мне ужасно хотелось понять эту странную картину, разгадать её, как разгадывают ребусы или шарды. Я не мог осознать её тайного смысла, а в том, что он был, не сомневался.

Впервые я осмысленно засмотрелся на эту картину, когда мне было года четыре; я валялся в поту и в жару моей первой серьёзной ангины, а полотно висело прямо передо мной. Поскольку комнатка наша была крохотная, всего восемь метров, то и масштаб изображения казался мне особенным: увеличенная температурным бредом картина нависала над моей головой и как будто чем-то грозила. На ней был изображён аккуратный, но уже разрастающийся парк, впереди неземным белым цветом светилась изумительно прописанная во всех деталях ротонда, а над ними – над парком и над ротондой – разверзлось зловещее грозное небо, и было в этом небе нечто настолько страшное, что пугало меня пуще чертей из преисподней, которые жили в моей любимой книге о древне-русской живописи. Фиолетовое небо, готовое вот-вот пролиться над парком ледяным дождём, превращалось в моём воспалённом воображении в метафору вселенской катастрофы, готовой смести с лица земли и парк, и ротонду, и само собой, усадьбу целиком, да и вообще весь привычный уклад той жизни, которая в последней трети двадцатого века был непонятен не только молодому поколению, но и, пожалуй, даже людям, уже пожившим и кое-что видевшим на своём веку. Впрочем, сейчас, когда я и сам стал уже вполне пожилым, дедушкино предвидение кажется мне пророческим: он предчувствовал эту грозу, прозревал этот страшный, сатанинский ураган, он знал, что буря сметёт – и уже сметает – миллионы лучших сынов Отечества в бездонную пропасть, в бездну небытия, в пустоту, которая за гранью жизни и вне её. Этот метафорический смысл картины я чувствовал интуитивно, ничего ещё не зная о судьбах своей страны, однако был у полотна и смысл конкретный, что называется, предметный, и этот смысл мне пришлось разгадывать, как в настоящей детективной истории.

Начать с того, что в облике сооружения имелась одна странность: с одной стороны, оно было прописано настолько чётко и с такими почти чертёжными «интонациями», что полотно казалось архитектурным эскизом, с другой – в углу картины наблюдался какой-то странный беспорядок; на правой оконечности ограждения ротонды имелась неясная погрешность: некий явно выбивающийся из композиции и цветовой гаммы алый мазок, как будто бы по небрежности оставленный художником. А над грозным фиолетовым небом победно нависала узкая золотая полоска, которая тоже как-то не вязалась с общим колоритом картины. Может, это был намёк на непрременную победу добра над злом? Может, художник хотел сказать, что ураган не вечен, и рано или поздно с неба прольётся золотой солнечный свет, который вытеснит, конечно же, вытеснит рано или поздно эту зловещую фиолетовую тьму?

Картина была в очень хорошем состоянии, только её золочёная рама несколько потускнела от времени да разлохматились края для чего-то наклеенного на подрамник плотного полотна. Я представлял себе это так, будто бы художник закрыл тайную коробочку с исподу полотняной крышечкой.

Как выяснилось впоследствии, так оно и было.

В один прекрасный день мне в голову пришла фантазия открыть «коробочку», и я, вооружившись острым ножом и разложив картину на столе, стал осторожно срезать с подрамника потемневшее пыльное полотно. Через некоторое время операция была завершена и я, немного даже волнуясь, убрал потайную «крышечку» с этой загадочной «коробочки».

Внутри меня ждала интересная находка.

На оборотной стороне холста сверху было написано: «Пётр Бернацкий. Золото. 1925, х/м». Здесь как будто бы ничего таинственного не было. Имя автора, название работы, год создания, а х/м, означало, очевидно, – «холст, масло». Однако ниже имелось графическое изображение часов, маленькая их стрелка стояла на четырёх, большая – на восьми. Под часами были начертаны две сплетённые между собой буквы – AU, нечто вроде монограммы. Слава Богу, с таблицей Менделеева я был уже знаком и сразу понял, что AU – это дубликат названия картины.

Свои находки я показал отцу. Отец долго разглядывал оборотную сторону картины, озадаченно хмыкал, пожимал плечами, переворачивал полотно, вглядывался в пейзаж. Весь вечер

мы обсуждали с ним таинственные знаки, но так ни к чему и не пришли. Два или три дня пейзаж пролежал на столе, время от времени убираемый ради завтрака или ужина, а потом, после нескольких недовольных замечаний мамы вернулся на своё законное место среди других картин.

Прошло месяца два, и как-то вечером отец принёс домой большой художественный альбом с фотографиями старинных областных усадеб. Кроме фотографий в альбоме были архитектурные планы строений, кое-какие чертежи и изображения построек в различных проекциях. Отец с загадочным видом подозвал меня к себе, раскрыл альбом и показал нужную страницу с заглавием «Село Бернацкое, усадьба князей Бернацких, XVIII век».

Сердце у меня заколотилось.

Мама звала ужинать, но мы проигнорировали её предложение. Как ни возмущалась она, но ужин остался остывать на столе.

Отец перевернул страницу, на которой была помещена панорамная фотография усадьбы, пролистал ещё несколько страниц с изображениями усадебного дома, флигеля, других построек и остановился наконец на развороте, где во всей красе блистала наша знаменитая белая ротонда. Здесь имелись также её чертежи, и отец указал мне на один из них – то был вид сверху.

– Взгляни, – сказал отец, – в плане ротонда состоит из двенадцати сегментов, точно так же, как циферблат часов. Никаких мыслей не возникает?

– А в чём тут связь? – не понял я.

– Смотри, – сказал отец. – Двенадцать сегментов, каждый сегмент состоит из восьми дубовых панелей...

– И что? – в недоумении спросил я.

– Как что? – вскричал отец. – Двенадцать сегментов! И восемь панелей! Посмотри на план!

Я в недоумении уставился на чертёж.

– Часы на оборотной стороне холста! – снова в волнении произнёс отец и даже потряс в воздухе руками, выказывая этим степень своего необычайного возбуждения.

И тут меня осенило.

– Золото... – прошептал я.

– Золото, – подтвердил отец.

– Четвёртый сегмент, восьмая панель! – подытожил я.

– Ты умён не по годам, – съязвил отец. – Весь в меня!

– А то! – согласился я. – Неужели это возможно? Неужели там что-то есть? Ведь прошло... – я отвлёкся, подсчитывая, – прошло сорок пять лет... и там столько людей перебивало за эти годы, была серьёзная реставрация, несколько ремонтов... нет, это невозможно...

– Посмотри на год издания альбома, – сказал отец. – Он вышел совсем недавно. И в тексте ничего не сказано о каких-то экстраординарных находках. Значит, за все эти годы там ничего не находили.

Мы нервно смотрели друг на друга и в глазах у нас уже сверкали искорки безумия...

Я стал изучать всё, что касалось истории усадьбы и корней нашего рода. Особенно меня интересовали судьбы бабушки и прабабушки, потому что именно они, скорее всего, были каким-то образом связаны с белой ротондой и таинственными чертежами на оборотной стороне магической картины.

В семидесятые годы XX века непросто было заниматься историческими изысканиями. История в те годы подчинялась идеологии и всё, что происходило во время революций и войн, довольно сильно корректировалось ангажированными историками. С исследованиями по гражданской войне было очень сложно, события трактовались весьма односторонне и, само собой, в пользу Красной Армии и её военачальников.

По рассказам отца огнём гражданской был опалён мой прадед Владимир Александрович Бернацкий и отчасти задела она моего деда, Петра Бернацкого, впоследствии ставшего художником. У деда был ещё брат Володя, пропавший то ли в Румынии, то ли в Югославии в начале 20-х. О его судьбе в семье вообще ничего не знали. Впрочем, и о Владимире Александровиче знали тоже немного. По крупицам, по косвенным свидетельствам, по редким мемуарам, опубликованным, видимо, вопреки цензурному вниманию в первые годы после революции и прочитанным отцом в Исторической библиотеке, была собрана достаточно внятная информация о прадеде.

Владимир Александрович с лета 1917 года был директором Одесского кадетского корпуса. В январе 1920-ого при наступлении красных корпус должен был эвакуироваться морем на кораблях союзников. Когда стало определённо ясно, что большевики наступают и вот-вот войдут в Одессу, он долго колебался в вопросе об эвакуации, и это в определённом смысле решило судьбу корпуса и его питомцев.

Ночью 24-ого января к Бернацкому пришёл посыльный из соседнего Сергиевского артиллерийского училища с предложением о немедленной эвакуации и сообщил, что юнкера в случае необходимости прикроют своих младших товарищей.

Приказа о подготовке к отъезду у директора не было, тем не менее, в течение нескольких дней перед этими событиями кадеты лихорадочно собирали корпусное имущество, увязывали тюки, укладывали вещи в ящики, приготавливали походные мешки. Особо ценные вещи паковали старшекласники, малыши помогали, подавая инструменты, гвозди, обёрточную бумагу.

Но в ту ночь полковник Бернацкий не был готов к выступлению. Подводы для следования в порт были заказаны только на следующее утро, ближайшие сутки отводились на окончательные сборы. Выступить пешим порядком было возможно, но это означало – потерять имущество. Директор колебался. С одной стороны угроза захвата города красными была более чем реальной, с другой – не было приказа об эвакуации, не было возможности выступить согласно плану и взять с собой, всё, что было назначено к вывозу. Как старый службист, Бернацкий не мог позволить себе действовать самостоятельно. Под его началом находились более тысячи кадет, офицеры и воспитатели, административные работники корпуса. Всех этих людей нужно было экстренно накормить, быстро подготовить к рейду и выступить в полной темноте на двадцатиградусном морозе к порту, до которого нужно было шагать около пяти вёрст.

В корпусе не было не то что завтрака, – не было даже кипятка. Поднять тысячную толпу в течение четверти часа не представлялось возможным.

Курсовой офицер Сергиевского артиллерийского училища торопил с ответом, и полковник Бернацкий после тяжких раздумий поблагодарил его и отказался от немедленного рейда.

К полудню он узнал, что юнкера не стали тратить драгоценное время на имущество, бросили всё и в экстренном порядке погрузились на союзные суда.

Потерянные сутки оказались для кадет роковыми.

В кромешной тьме следующего утра пришли заказанные подводы, и кадеты принялись грузить на них ящики и тюки. Подвод не хватало, от корпуса до порта предполагалось сделать несколько рейсов, но едва успели совершить только один. Небольшая часть кадет ушла с подводами. Остальные не знали, что делать.

Бернацкий метался, не в силах принять окончательного решения. То строил кадет на плацу, то распускал, то направлял разведчиков в центр, то отзывал... наконец фельдфебель Тарасенко взял на себя инициативу и выдал кадетам старшей роты винтовки. Бернацкий нервно ходил перед строем и, беспорядочно размахивая руками в чёрных перчатках, убеждал кадет повременить с выходом.

– Сейчас придёт приказ, – убеждал он, – наверняка эвакуацию отменят... есть надежда, что ситуация переменится... наши войска бьются под городом... порядок не сегодня-завтра будет восстановлен! Не забывайте, господа, что мы ответственны за младших кадет...

Строй гудел, все понимали, что единоначалия уже нет. Кто-то предлагал в случае прорыва красных принимать бой, кто-то звал к немедленному маршу на порт, кто-то просил помнить о малышах.

По соседним улицам тянулись беженские обозы, люди в страхе и панике стремились как можно скорее попасть в порт. Кроме того, было известно: транспортов не хватает, эвакуация идёт в панике, всех желающих посадить на суда невозможно.

Кто-то принёс слух о том, что посланные с первыми подводами кадеты погибли в стычке с большевиками-подпольщиками, вышедшими на улицы города с оружием в руках.

И тогда Бернацкий решился.

– Господа! – сказал он кадетам. – Сей же час мы немедленно выступаем. Приказываю выйти на овидиопольскую дорогу и двигаться в сторону румынской границы. Через два дня будем в Аккермане... авось пронесёт!

И кадеты, закинув за спины свои вещевые мешки, впопыхах сделанные из скрученных наволочек, потянулись строем в чёрную пустоту ночи. Навстречу им дул злобный ветер, и колючие иглы жёсткой позёмки вонзались в их обветренные лица. Обледенелые дула винтовок плыли над головами; они шли в неизвестность, втягиваясь в длинный тоннель страха и безнадёжности, и уже ничего нельзя было изменить.

Вечером того же дня, совершенно выбившись из сил, кадеты пришли в немецкую колонию Ламсдорф, где гвардейские сапёры, пришедшие ранее, уступили им замороженное насквозь здание местной школы. Мальчишки так устали, что забыли о том, что во весь день ничего не ели и, зайдя в грязные, устланные завшивленной соломой классы, повалились на пол и мгновенно уснули. Младшие кадеты, лет по десяти-двенадцати, инстинктивно жались к старшекласникам, а те прижимали их к своим телам, пытаясь хоть немножко согреть. Так впопыху, обнимая друг друга, они и проспали мёртвым сном до той самой минуты, когда полковник Бернацкий начал их будить.

В морозной предутренней тьме офицеры и воспитатели выстроили мальчишек перед зданием школы. Бернацкий с состраданием осмотрел нелепый строй своих стойких оловянных солдатиков. Старшие ещё в Одессе получили винтовки, малыши накануне подобрали на соседних улицах громоздкие «манлихеры» и стояли с ними в строю как маленькие часовые больших рубежей. У полковника сжалось сердце.

К рассвету кадеты достигли небольшой деревеньки и остановились на короткий отдых. Сельский староста предоставил им для размещения большой дом, дал мешок муки, кусок сала величиной с ладонь и три буханки заледеневшего в камень хлеба. Кадеты развели огонь в печи, нашли чугунок, натопили в него снега и принялись варить из муки клёцки. Эти полусырые, скользкие кусочки ноздреватого теста казались им сказочной пищей, и они, обжигаясь, торопились поскорее проглотить их. Запив свой скудный завтрак крутым кипятком, кадеты покинули своё временное убежище и снова построились на улице. Бернацкий поторапливал.

– Господа, нам нужно спешить, – говорил он, – ведь у нас нет охранения, а позади догоняют красные разьезды...

Марш совершали бегом. Полковник гнал мальчишек сквозь пургу и мороз, чтобы они могли согреться, чтобы кровь бежала по их жилам веселее, чтобы никто не обморозился и не простудился. Только быстрое движение было спасением для всех; кроме того, действительно, в нескольких переходах от них уже шли красные отряды.

Постепенно кадеты втянулись в общий беженский поток, уходящий нескончаемой чёрной лентой в сторону румынской границы. В колонне бежать было уже невозможно, и мальчишки стали отчаянно замерзать. Холод пронизывал их насквозь и выворачивал внутренности, заледеневшие ноги не желали двигаться, сознание временами отключалось и им казалось, что не будет конца этому крестному пути.

Через несколько часов кадеты окончательно выбились из сил, и Бернацкий приказал малышам бросить винтовки. Во главе кадетской полуроты шла единственная подвода; полковник приказал сбросить с неё имущество и усадил смертельно уставших мальчишек. Те, кому не хватило места, кое-как опираясь на старших, брели дальше.

Утром следующего дня кадеты вошли в Овидиополь и снова разместились в местной школе, полуразрушенной и заполненной разломанным хламом. Директор корпуса отправился на пограничную линию договариваться с румынами, и кадеты воспряли духом. Если всё будет хорошо, то останется только перейти Днестровский лиман, преодолев около десяти вёрст... а там — сытая и тёплая Бессарабия, покой и безопасность.

Вечером полковник вернулся и с тяжёлым сердцем и приказал готовиться к утреннему маршу.

Румыны отказались принять кадет, ссылаясь на отсутствие директив, но лично полковнику разрешили переход границы. Бернацкий был в смятении: оставить своих подопечных он не мог, повернуть с ними назад, в сторону Одессы казалось абсолютно невыносимым... оставалось идти вперёд, невзирая на запрет и в надежде, что румынские власти сжалятся над погибающими юнцами.

Ранним утром следующего дня кадеты вышли на сверкающий под солнцем лёд Днестровского лимана. Следом за ними двинулась длинная колонна беженцев, состоявшая из многочисленных обозов, за которыми в беспорядке тянулись офицеры, солдаты, гражданские служащие, женщины, дети и старики. Они шли вперёд, с трудом преодолевая яростный напор ледяного ветра, бросающего навстречу им пригоршни колкой позёмки. Кадеты бодрились и, не обращая внимания на холод, усталость и голодные рези в животах, упрямо шли вперёд. К

полудню они добрались до первой пограничной линии, откуда уже были хорошо видны старинные строения Аккермана и пропускные пункты румынской границы.

Бернацкий сел в сани и снова направился к пограничникам. Кадеты в изнеможении повалились на лёд. Беженская колонна тоже стала.

Около часа прошло в болезненном забытии; кадеты дремали под холодным ветром, огромная заледеневшая человеческая масса стыла в угрюмом сонном оцепенении.

Бернацкий тем временем умолял румынских пограничников пропустить кадет, но те были неумолимы. Самому полковнику вновь предложили остаться; он сидел в караульном помещении пограничной стражи, обхватив тяжёлую голову багровыми от стужи руками и не знал, что предпринять. Его отчаянию не было предела, он мучительно искал выход и... не находил его. Силой пробиться в Румынию было невозможно; сзади наседали красные, – полковник чувствовал себя в захлопнувшейся мышеловке. Но оставить своих птенцов на произвол судьбы он не мог.

Румыны, между тем, выкатили на бруствер пограничной линии орудие и прямой наводкой принялись обстреливать беженские колонны.

– Что вы делаете!! – в ужасе вскричал Бернацкий, увидев в окно караулки орудие, изрыгающее пламя.

Выскочив наружу, он ринулся к саням и погнал лошадь по льду лимана в попытке догнать свою полуроту. Люди бежали и падали на скользкой ледяной поверхности, кони, тащившие повозки, неслись, обезумев от грохота и огненных вспышек, кто-то с размаху влетал в полыньи, кто-то был ранен... разбросанное имущество никто не подбирал, и всюду виднелись окровавленные, разбитые куски льда.

Через несколько минут румыны перестали стрелять, беженцы кое-как собрались и понуро двинулись в противоположную сторону. Восемь вёрст прошли в гробовом молчании, уже ни на что не реагируя, а только пестуя и лелея своё горькое отчаяние...

На следующий день полковник Мамонтов, который возглавлял одно из отступающих формирований, ввиду возможности боевых действий предложил Бернацкому создать из числа старших кадет добровольческий отряд, а малышей посоветовал вернуть в Одессу.

Все старшекласники как один мгновенно записались в отряд под командой четырёх офицеров, общее руководство принял на себя полковник Стессель. Несколько младших кадет, увязавшись за братьями, тоже упростили записать их в отряд.

Владимир Александрович понимал, что если начнутся столкновения с красными, младших кадет, среди которых, кстати, был и его сын Петя Бернацкий, спасти будет невозможно. Всю ночь провёл он, не сомкнув глаз, в помещении овидиопольской школы возле своих спящих питомцев. Он смотрел на их перепачканные лица, вслушивался в их сонное дыхание, и ему хотелось плакать от отчаяния; он не мог понять, как, каким образом его нерешительность и отсутствие командирской воли привели славный кадетский корпус к этому трагическому повороту на, казалось бы, вполне прямой и добротной исторической дороге. Он хотел биться с большевиками и силой доказывать им право своих мальчишек на жизнь, но... младшие кадеты не могли вступить в бой с отборными красными частями. Кровью хотел он искупить вину перед своими орлятами, но... им была нужна не его смерть, а его жизнь.

К утру он решил: нужно вести малышей в Одессу. На льду Днестровского лимана их ждёт неминуемая гибель, а в городе их не тронут, – не станут же большевики расстреливать детей. Правда, сам он при этом неминуемо попадёт в ЧК и, скорее всего, будет через короткое время казнён. Что ж... знать, такая судьба... он поведёт младших кадет назад, в Одессу, а там – будь что будет!

На рассвете он попрощался со старшекласниками и сказал перед их строем несколько проникновенных слов. Последним его шагом на заснеженном пустыре перед школой, где стояли кадеты, был короткий и порывистый шаг в сторону старшего сына, Володи Бернацкого. Полковник обнял Володю, поцеловал и перекрестил, а потом перекрестил весь строй застывших в молчании кадет.

Младшие инстинктивно жались к нему, а у него не хватало тепла, чтобы обогреть всех; он построил их в маленькую колонну, махнул рукой на прощание, резко повернулся, чтобы кадеты не видели его наполненных слезами воспалённых глаз, и пошёл по скользкой овидиопольской дороге, уводя своих голодных и заледеневших подопечных от неминуемой гибели.

В Одессе его, конечно же, сразу арестовали.

Кадет разместили в брошенном, разграбленном корпусе, не позаботившись ни об их устройстве, ни о пропитании, – прожив несколько дней в холодных помещениях, где стены были

покрыты инеем, а по углам голой столовой шныряли облезлые крысы, воспитанники стали потихоньку разбредаться кто куда ...

Бернацкий сидел в подвале местной чрезвычайки в ожидании расстрела, и расстрел не заставил себя долго ждать.

По прошествии недели солнечным морозным днём директору зачитали постановление о казни, а ночью вывели из подвала и долго водили сумрачными, плохо освещёнными коридорами до тех пор, пока не впихнули в ярко освещённую комнату, где сидел какой-то человек без возраста в тёмно-зелёном френче без опознавательных знаков. Человек весьма любезно осведомился о здоровье Владимира Александровича, подробно расспросил о его работе, о воспитании кадет, участливо поинтересовался, нет ли жалоб на содержание, и в конце беседы предложил полковнику заняться преподавательской работой в городской военно-технической школе, являвшейся одной из учебных баз РККА.

И Бернацкий, немного подумав, с тяжёлым сердцем согласился.

Почти десять лет проработал он военспецом в Красной Армии, а в 1930 году был арестован по делу «Весна» или, как его ещё называли – «Гвардейскому делу». Обвинения были сфальсифицированы против почти трёх тысяч человек, следствие длилось около года и треть арестованных впоследствии расстреляли. Под каток несправедливых репрессий попали офицеры Красной Армии, ранее служившие в Русской Императорской армии или участвовавшие в Белом движении.

Полковник Бернацкий был расстрелян осенью 1931 года.

Его сын Пётя Бернацкий, мой дедушка, незадолго до этих событий успел жениться на комсомольской активистке Мане, скрывшей своё буржуазное происхождение, и у молодых супругов родился сын Павел, мой будущий отец Павел Петрович Бернацкий. Правда, дедушка с бабушкой недолго наслаждались родительским счастьем; через два года Петя пошёл вслед за отцом, что называется «паровозом», его обвинили в причастности к отцовскому «заговору», в недоносительстве и ещё в чём-то, чему и названия нет на нашем богатом языке, словом, он, как и миллионы других советских граждан, попал в жернова судьбы и был безжалостно ими перемолот. Правда, он успел создать неисчислимое множество прекрасных картин, успел влюбиться и подарить будущую жизнь моему отцу и через него – мне, более того, он успел даже послать из своей эпохи некий таинственный привет, который я всенепременно должен был принять, – принять и разгадать, – ибо привет был непростой, зашифрованный, тайный... И кто знает, чего в этом приветке было больше, – желания передать потомкам накопленное богатство или тоски по несостоявшейся жизни, по детям и внукам, с которыми судьба не позволила свидеться, тоски по утраченной любви да несбывшейся надежде... Мой дед знал, конечно же, знал, что добром дело не кончится, он ощущал эти вихри враждебные, которые веяли над страной, и понимал, что жизнь его не может быть длинной.

Вот потому-то и висели в нашей маленькой комнатухе его картины, этюды, рисунки и среди них – замечательный пейзаж с таинственным и притягательным названием «Золото»...

... я стоял на лагерной танцплощадке и рассеянно смотрел на танцующих. Из радиорубки неслись быстрые современные мелодии, и мои товарищи по полной отрывались в танце. Медленные композиции игрались редко, а я всё ждал, когда же наконец зазвучит какая-нибудь спокойная лирическая мелодия, чтобы я мог пригласить Стёпу. Я пропустил три или четыре тура и всё наблюдал за девчонками, которые танцуют, показывали свою вкрадчивую грацию вступающих в пору взросления маленьких женщин; это было так красиво, так соблазнительно и до такой степени захватывающе, что у меня перехватывало дыхание от волнения, и я чувствовал, как сердце моё колотится и хочет выпорхнуть из тесной грудной клетки. Среди девчонок была и Стёпа, я глядел на неё и не мог наглядеться...

Наконец зазвучала медленная мелодия, и наша вожатая объявила белый танец. Я ещё только собирал свои растрёпанные мысли, а Стёпа уже шла ко мне. Она шутливо пригласила меня, сделав едва заметный книксен, вложила свою правую ладошку мне в руку, а левой обняла за плечо и... мы пошли, медленно-медленно переступая с места на место. Голова у меня кружилась от её присутствия, я вдыхал малиновый запах её губ и, прикрыв глаза, словно бы плыл по сладостным, баюкающим волнам... рука моя лежала на её мягкой талии, в том месте, где талия переходит в волнующий изгиб, в тёплую возвышенность... другой рукой я ощущал нежную и влажную от волнения кожу её ладошки, и мне всё хотелось заглянуть в тёмную впадинку на её груди, но я никак не мог решиться... я чувствовал, что наше волнение взаимно и что сердца наши бьются в унисон...

Мне хотелось рассказать Стёпе о белой ротонде, о картинах дедушки, о судьбе нашей семьи и о том, как и почему я вообще оказался в этом пионерском лагере.

Как-то вечером, ещё весной я стал просить отца достать мне путёвку, и мне стало так смешно, когда отец сказал:

– В свою собственную усадьбу...

Вдвоём мы долго-долго хохотали, а я сквозь смех всё пытался повторять:

– Ага, ага... в свою собственную усадьбу...

Мы с отцом стояли друг против друга и тыкали пальцами в дедушкину картину, изображавшую белую ротонду, я просто надрывал живот и кричал отцу:

– Усадьбовладелец... не смешите мне валенки!

Мама, еле сдерживаясь, чтобы тоже не засмеяться, пыталась уговорить нас и, трагически закатывая глаза, прикладывала палец к губам, как бы говоря: «Тише, тише...». Но мы не унимались, всё хохотали и хохотали, а когда успокоились, отец сказал:

– Ну как же я достану туда путёвку, ведь это лагерь не нашего ведомства! В нашем профкоме путёвки только собственного предприятия.

Мама ничего не понимала и думала, что мы замыслили какую-то аферу. Пришлось посвятить её в нашу тайну, – она схватилась за голову и запричитала в том смысле, что ничего не нужно предпринимать, а то как бы чего не вышло. Папа сокрушённо вздохнул и пробормотал:

– Эх... Беликов в юбке... для чего мы ей рассказали?

Тем не менее, спустя два месяца отец каким-то образом добился путёвки в этот пионерлагерь. Сказал, что предложил профкому дать несколько путёвок своего лагеря на обмен дружественному предприятию.

Так мне и удалось попасть в вождленную усадьбу.

Я всё рассказал Стёпе, и мы условились вместе попытаться найти дедушкины сокровища. Тем более что время уже поджимало, – до конца смены оставалось всего около недели.

Положение моё в отряде хоть и поправилось после памятного похода, но всё равно я жил как-то отдельно от коллектива. Мне неинтересно было со сверстниками, меня напрягали их разговоры о футболе и похабные обсуждения наших девчонок. Я мог, конечно, попинать мяч на травяном пятачке возле спортивной площадки или попрыгать у стола для игры в пинг-понг, но больше мне нравилось проводить время с книгой или в кружке «Умелые руки», где можно было заниматься лепкой, резьбой по дереву, выжиганием или ещё каким-нибудь творческим рукоделием. В отряде меня редко видели, только на общих мероприятиях, от которых я, конечно же, не мог уклониться. Но везде, где было возможно, я старался увиливать от ненужного мне общения. Поэтому меня недолго любили. Эта неприязнь выливалась порой в какие-то дикие формы.

Однажды мы сидели в столовой за обедом и всё было тихо-мирно до тех пор, пока Витя Золотарёв, по кличке Чубатый, который обычно сидел напротив, на противоположной от меня стороне, не начал насмешничать надо мной. Я подносил ложку ко рту, а Чубатый медленно говорил, адресуясь как бы в пустоту, но явно для всей аудитории:

– Смотрите, как уроды едят суп... поднимают своей корявой клешней ложку, аккуратно заглывают её, вливают в своё поганое горло это отвратительное пойло, – и он задумчиво помешивал ложкой остывший суп в своей тарелке, – и радостно глотают...

Я продолжал есть как ни в чём не бывало.

Когда дошло дело до второго, Чубатый, увидев, что я терзаю вилкой котлету, усмехнулся и нудным голосом экскурсовода сказал:

– А теперь мы все можем наблюдать, как настоящие мерзкие каннибалы жрут котлеты из человеческого мяса...

Парни стали прыскать и давиться от смеха, но двое-трое за столом поглядывали на Чубатого неодобрительно.

Я решил не отвечать и продолжал спокойно доедать обед.

Чубатый внимательно следил за мной и комментировал каждое моё движение. Кто-то из соседей уже пихнул его в бок и предложил прекратить гнусные насмешки, уж больно издевательски всё это звучало. Вдобавок, говорил он свои фразочки отвратительным тоном, мерзко растягивая слова и гнусая.

Все уже допивали компот, а я, обхватив свой стакан обеими руками, согревал его в ладонях и внимательно вглядывался в Чубатого, который не желал замолчать.

– Последний акт незабываемого спектакля! – вещал он. – Великий читатель литературных произведений, изготовитель выпиленных лобзиком дощечек, потомок затоптанной во время революции гнилой интеллигенции и вообще – маменькин сынок сейчас будет пить мочу собственного производства!

И оглядел всех, сидящих за столом, надеясь на одобрительный смех. Но никто почему-то не смеялся. Напротив, все нахмурились, и за нашим столом повисла напряжённая тишина.

– Нет, не будет! – сказал я и плеснул компот ему в лицо.

Он захлебнулся от неожиданности и как-то растерянно взмахнул руками, но через мгновение уже ринулся ко мне, выставив вперёд кулаки. Посуда посыпалась на пол. Я успел отпрыгнуть и он, потеряв равновесие, навалился животом на мокрый и липкий стол...

В другой раз, всего через несколько дней после этого инцидента похожая отвратительная ситуация повторилась.

Вечером после отбоя пацаны не хотели засыпать и сначала рассказывали разные жуткие истории про кровавых маньяков и вампиров-убийц, а потом, перебивая друг друга, стали травить анекдоты. Среди всеобщего веселья на меня вдруг посыпались плевки с противоположного ряда кроватей. Они прилетали из одного места, находившегося немного наискосок от меня, – там была постель Уколова. Плевки навешивались мастерски, правда, немного не долетали и приземлялись либо на полу возле кровати, либо у меня в ногах. Когда эта бодяга началась, все как-то притихли и, подленько выжидая, затаились в своих норах. Я, не желая вступать в конфликт, полушутливо поинтересовался в чём дело, ну, типа, если это шалость, то сейчас пошалим вместе, и я тоже начну обстрел со своей стороны. Однако ответом мне было полное молчание, да тишина ещё и сгустилась, а в отсутствие посторонних шорохов и звуков хорошо было слышно, как плевки срываются с губ Уколова и шлёпаются на меня. Я сказал, что если бы знал, какая сука этот Уколов, то никогда не тащил бы его под дождём четыре километра по лесной скользкой дороге до нашего лагеря. Кто-то в углу спальни мерзко хихикнул и в тот же миг послышался характерный звук нового плевка. Тут я взбесился. Во мне поднялась отвратительная волна омерзения и гнева, я вскочил с постели, решительно откинув одеяло, и подбежал к Уколову. В окна помещения светили фонари и моего врага было хорошо видно. Он лежал, заложив руки за голову, и нагло смотрел на меня. Я почти в беспамятстве подскочил к нему и изо всех сил ударил его кулаком по морде. Он слетел с постели в узкий проход, а я, обдирая бока о металлические каркасы кроватей, прыгнул на него сверху и вцепился ему в шею. Парни вскочили со своих мест, кто-то врубил свет и началась дикая свистопляска, похожая на ту, которая вспыхивает во время футбольного матча, когда на судейском табло равный счёт, до конца матча остаются считанные минуты, и болельщики, начиная звереть на трибунах, принимают орать дикими голосами, улюлюкать, свистеть и срывать глотки. Неожиданно оказалось, что у меня тоже есть болельщики, я и предположить не мог, что кто-то в этой ситуации будет против Уколова, но, тем не менее, я только и слышал:

– Лёха, вмажь ему как следует!

– Закопай эту тварь, Алёшка!

– Бей, Лёха!

И я молотил кулаками без остановки до тех пор, пока меня не стащили с врага. Я страшно устал и чувствовал, что у меня разбита губа и левая скула сбита до крови. Уколов, утирая соплю, поплёлся в умывалку. Я демонстративно вытерся его полотенцем и улёгся на своё место. Потихоньку все уgomонились, Уколов вернулся в палату и молча залез под одеяло.

Я лежал и смотрел в окно на возвышающуюся вдалеке белую ротонду. Спать я, конечно, уже не мог и задремал только под самое утро.

Между тем, время нашего пребывания в лагере подходило к концу, смена заканчивалась, и мне нужно было подумать, как лучше осуществить свою миссию. Возле ротонды я уже неоднократно бывал, разведаль там все ходы и выходы, изучил все близлежащие тропинки и, конечно, внимательно осмотрел нужные мне элементы здания. Ротонда была выстроена на совесть, как, впрочем, и всё остальное в этой усадьбе, и я во время своих прогулок озабоченно прикидывал, каким образом можно будет демонтировать тяжеленные дубовые панели в нужных мне местах. Прежде всего следовало позаботиться об инструменте. Я решил в избранный день временно позаимствовать в кружке «Умелые руки» стамеску и, может быть, молоток с плоскогубцами, а главный инструмент, присмотренный мною ещё в первые дни пребывания в

лагере, взять с пожарного щита, расположенного неподалёку от главного корпуса. Я понимал, что для демонтажа тяжёлых дубовых панелей понадобится серьёзный рычаг, а для этой цели как нельзя лучше подходил пожарный багор. В помощь ему я решил взять обычную штыковую лопату, висевшую рядом с багром на загнутых металлических штырьках...

В последние дни мы договорились со Стёпой искать фамильные сокровища вместе. Накануне мы условились с ней о времени начала операции, и я с вечера приготовил всё необходимое – сложил в походный рюкзак стамеску, молоток, плоскогубцы, электрический фонарь, а багор и лопату оставил пока на своих местах, предполагая снять их с пожарного щита непосредственно перед началом поиска.

Глубокой ночью я встал с кровати, быстро и бесшумно оделся и потихоньку вышел в прохладную ночь. Стёпа уже стояла за углом корпуса. Мы прокрались к пожарному щиту и осторожно, стараясь на бряцать металлом, сняли инструменты. Я накинул на плечи рюкзак, взял багор, Стёпа ухватила лопату, и мы двинулись в глухую темноту парка. Поскольку все парковые тропинки были мною изучены заранее, пришли мы довольно быстро и сразу приступили к делу. Включив фонарь, я быстро определил местонахождение восьмой панели в четвёртом сегменте и взял наизготовку багор. Чтобы снять панель, нужно было сначала поддеть поперечную перекладину в виде широкого, почти полуметрового подоконника, тоже сделанного из толстой добротной дубовой доски, которая ничуть не обветшала за свою более чем полутора вековую историю. Стёпа осветила фонарём в нужное место, я отыскал небольшую щель, просунул туда остриё багра и слегка надавил вниз. Доска не поддавалась. Я надавил сильнее. Доска хрустнула и медленно пошла вверх. Я посмотрел на Стёпу; она сильно волновалась. Я надавил ещё, но шип доски врезался в вертикальный столб между сегментами и не хотел идти дальше. Пришлось поднимать соседнюю панель, – появился зазор и тогда дело пошло веселее. С первой доской пришлось повозиться, потому что она была крайняя и примыкала к столбу, который тормозил её движение. С большим трудом мы вместе со Стёпой кое-как вынули обе доски и увидели перед собой глубокую тёмную нишу, из которой пахло грибной прелью. Я велел Стёпе светить внутрь ниши и попытался просунуть туда голову. Голова не проходила, – я взял у Стёпы фонарь, направил в темноту и стал шарить в глубине свободной рукой.

Ниша была пуста.

Я чуть не плакал, ведь по всем расчётам здесь должен был находиться клад моего деда... неужели он обманул... неужели история с его картиной – просто обманная песня, блеф, волшебная сказка, в которую не нужно было верить? Я сидел на каменном полу ротонды и тупо смотрел в открытую нишу. Стёпа тихо сказала, что панели необходимо поставить на место, я кивнул... взял снятую доску и стал неловко прилаживать её к столбу. Это заняло кучу времени. Верно говорят: ломать – не строить. Вынули мы панели относительно быстро, а вот на их восстановление времени ушло значительно больше. Около часа мы возились с этими панелями и, восстановив наконец целостность обшивки, расстроенные снова уселись на полу.

– Надо возвращаться, – сказала Стёпа, – время к рассвету... сейчас, наверное, уже около четырёх...

Я странно посмотрел на неё и вдруг вскочил.

– Конечно! — шёпотом заорал я. – Около четырёх! Без двадцати четыре!

Глаза Стёпы округлились от изумления.

– Без двадцати четыре! – продолжал я. – Какой же я тупой! Не по часовой стрелке, а против! Не четвёртый сегмент, восьмая панель, а наоборот – восьмой сегмент, четвёртая панель!

И мы бросились к восьмому сегменту. Здесь оказалось, что вскрыть дубовую доску, стоящую в самой середине ещё труднее, чем это было в первом случае, когда доска была крайней. Пришлось сначала снимать три соседние панели, потому что они вставлялись пазами одна в другую, и нам пришлось изрядно попотеть, чтобы добиться результата. Наконец четвёртая панель была снята, и мы, затаив дыхание, приблизились к открытой нише. Стёпа направила туда фонарь, я заглянул... внизу было положено несколько плоских камней, выше – обрезок дубовой доски, а на обрезке... лежала прямоугольная жестяная коробка, припорошённая тонким слоем почти полувекового тлена!

Сердце у меня колотилось. Я осторожно взял коробку и вынес её наружу. Стёпа смотрела во все глаза. Коробка была тяжёлая; ребром ладони я стёр с её крышки набежавшую за десятилетия пыль, и мы увидели почти не потерявшую красок картинку: какие-то кавалергарды или гусары верхом на статных скакунах, – красивые молодые парни в киверах и ментиках, с

шашками и пиками в руках под неизвестным стягом... по краям коробки уже ползла въедливая ржавчина и стирала витиеватый орнамент на её боках... я попытался приподнять крышку – она не тронулась с места, тогда я взял стамеску и аккуратно поддел её... крышка глухо скрипнула и... сдвинулась... сверху лежали какие-то бумаги, под ними – два Георгиевских креста, а под крестами... целая россыпь монет... мы таращились на них и никак не могли придти в себя...

– Это не золото, – сказала Стёпа, – монеты какие-то тёмные... золото же не окисляется...

Я взял пару монет и бумаги, лежавшие сверху, положил всё это себе в карман, коробку передал Стёпе и начал восстанавливать разобранное ограждение. Когда работа была окончена, мы выбрали в глубине парка малоприметное местечко возле старого ясеня и закопали коробку, засыпав место раскопа собранным неподалёку хворостом.

Уже светало, когда мы, возбуждённые и счастливые, пробрались к усадебному корпусу и разошлись по своим палатам.

Поспали мы ещё часок-другой, а мне показалось, что как только я улёгся, тут же и раздался звук горна и следом зазвучал голос физрука Мая Михалыча:

– С добрым утром, товарищи пионеры! Через пять минут на лагерной линейке состоится физкультурная зарядка! Форма одежды – летняя спортивная, мальчики – без маск!

Все понеслись на зарядку, и на лагерной дорожке я увидел бегущую впереди Стёпу. Она оглянулась, и мы посмотрели друг на друга, как заговорщики.

Сразу же после завтрака мы уединились в укромном уголке на краю парка и стали разглядывать монеты, которые я прихватил с собой. Мы протёрли и немножко полирнули их краем моей рубашки, а они в ответ призывно заблестели на солнце! В черноте ночи да при свете карманного фонарика монеты показались нам тёмными, к тому же их покрывала многолетняя патина, которая, впрочем, как только что выяснилось, легко стиралась.

Это было золото!

Самое настоящее старинное золото!

На одной монете был выбит профиль Николая Пс надписью по кругу «Николай II императорь и самодержець», а на реверсе её, то есть на противоположной стороне, красовался двуглавый орёл с надписью «5 рублей 1899 г.». Вторая монета была очень старая и довольно потёртая, тоже пятирублёвик, но 1847 года и на лицевой стороне её значилось «Чистаго золота 1 золотникъ 39 долей».

Мы ликовали.

Нужно было ещё прочесть бумаги, найденные вместе с золотом, и мы, осторожно развернув их, начали уже вчитываться, но тут запел горн и следом прозвучало сообщение из радиорубки о начале подготовки к купанию. Через полчаса отряды собрались и под руководством своих вожатых отправились на пруд.

До конца смены оставалось два дня и в предотъездной суматохе я забыл о бумагах, лежавших у меня в кармане. В бедной моей голове было только золото. Я представлял, как вернусь домой и расскажу отцу о своих поисках, как он будет рад оттого, что сыскались фамильные сокровища... там же ещё два Георгиевских креста... чьи они, кому принадлежали... и бумаги, надо разобрать бумаги... вот, кстати, дома вместе с отцом и разберём... Выкопать жестянку с монетами я предполагал перед самым отъездом, за час-полтора до прихода автобусов, потому что хранить её где-то в палате, в своей тумбочке было бы немыслимо.

Накануне последнего дня, после обеда я возвращался из столовой в корпус, – хотел взять книгу и почитать в беседке; я как раз заканчивал «Дон Кихота».

Как только я зашёл в палату, на голову мне обрушился страшный удар тяжелой подушкой, кажется, у меня даже что-то хрустнуло в шее. Пока я пытался придти в себя, на меня накинута несколько человек, среди которых я успел заметить Чубатого. По его агрессивной воинственности было видно, что он в этой акции предводитель и заводила, а все остальные, вооружённые подушками, его подчинённые. Они набросились на меня как на зверя, обложенного в лесу флажками, и принялись глушить подушками что было сил, а потом Чубатый крикнул: «Одеяло!» и тут же у меня перед глазами мелькнуло одеяло. В один миг я оказался в темноте и почувствовал сильные удары со всех сторон, причём, били не только кулаками и по-

душками, но и ногами. Я пытался отбиваться, однако руки были плотно скованы одеялом и почти не могли двигаться. Самое унижительное в этой ситуации было то, что я не имел возможности отвечать обидчикам, был беспомощен и, как следствие, – немощен.

Много лет подряд снилась мне потом эта жуткая история, и каждый раз чувство горькой и непоправимой обиды вспыхивало во мне, когда я, просыпаясь посреди ночи, в который уже раз осознавал, как это подло – избивать человека, который не в состоянии ответить, и вспоминал свои горькие чувства, замешанные на собственной горькой крови... Минут пять меня лупили почём зря, а потом под душным и пыльным пологом одеяла я вдруг расслышал какой-то дикий визг и следом – истерический вопль и узнал голос Стёпы, правда, сильно искажённый отчаянием и гневом. Она накинулась на моих обидчиков и принялась крушить их, тут вмешались другие голоса, и я понял, точнее почувствовал, что к ней присоединились другие парни из нашего отряда. На мгновение я был оставлен, потому что Чубатый со своим воинством отвлёкся, видимо, на Стёпу, – быстро выпутался из одеяла, осмотрелся и увидел удивительную картину: парни разделились примерно поровну и дрались друг с другом не на жизнь, а на смерть. В самой гуще дерущихся размахивала руками разъярённая и растрепанная Стёпа, – глаза её горели, волосы торчали во все стороны, губы были разбиты в кровь, – она лупила врагов, широко, по-женски замахиваясь и особо не целясь, и при этом удивительно точно попадала по их носам и щекам. Все орали, матерились и что самое удивительное, – чудовищно материлась Стёпа, осыпая проклятиями своих противников. Выбравшись из-под одеяла, я немедленно вступил в схватку, и это побоище длилось ещё некоторое время до тех пор, пока в палате не появились встревоженные дикими криками вожатые во главе с физруком Маем Михалычем. Они быстро навели порядок в палате, растащив дерущихся, правда, материальный порядок им ещё только предстояло навести. Сильно пострадавшие, те у кого были синяки и разбитые в кровь губы, немедленно отправились в санчасть, остальные предстали пред грозные очи Мая Михалыча. Зрелище в палате было, конечно, изумительное. Перевернутые постели, разбросанные вещи, разорванные подушки и пух из наперников, редким снежком порхающий вокруг...

Разбор полётов был долгим и суровым. Впрочем, для того, чтобы серьёзно наказать провинившихся, уже не оставалось времени, и всем участникам драки лишь определённо пообещали: в будущем году путёвок для них не будет.

На ночном прощальном костре мальчики второго отряда выглядели краше всех: синяки, ссадины, опухшие губы и разбитые носы являлись доказательством их боевого пыла. Отряд, как ни странно, разделился примерно наполовину: одни считали, что фанатиков художественной литературы и маменькиных сынков нужно всенепременно мочить, другие пытались доказать оппонентам, что каждый человек, особенно подросток, имеет право на самоопределение и свободное выражение своей индивидуальности. Спор продолжался и перед костром, но, по счастью, на этот раз только теоретический.

Мы со Стёпой сидели напротив полыхающего огня и молча всматривались в раскалённые угли; у каждого из нас было по симметричному фингалу под глазом, Стёпа блистала расплывшимися варениками разбитых губ, а я – ссадинами на лбу и огромной лепёхой фиолетового уха. Мы сидели, обнявшись, но сейчас обнимались не как мальчик и девочка, которые нравятся друг другу, а как настоящие боевые соратники и товарищи по борьбе. Я даже не чувствовал, что рядом со мной – маленькая женщина, от прикосновений которой совсем недавно трепетало моё сердце, теперь я ощущал надёжное и твёрдое плечо верного друга, который не подведёт, не отступит в тень, когда нужна помощь или поддержка. Она смотрела на меня такими глазами, что я понимал: мы вместе, а если впереди большая дорога, то мы и дальше пойдём по ней рядом, что бы ни случилось...

На следующий день с утра прибыли автобусы. Вещи у всех были уже собраны, и пока пионеры в предотъездной суматохе суетились, стараясь ничего не забыть и уже заранее прощаясь друг с другом, я сгонял в парк и выкопал заветную коробку.

После обеда отряды разобрались по машинам, и караван украшенных разноцветными флажками автобусов тронулся в город. Мы со Стёпой снова сидели рядом, и я вспоминал, как в начале смены мы ехали в лагерь и я посматривал на неё сзади, вовсе не рассчитывая на её дружбу и внимание.

Родители встретили нас с недоумением, мама долго причитала над моими боевыми ранениями и, главное, над фонарём, так живописно светившим с моего лица. Стёпина мама тоже была в шоке, я видел издали, как она энергично жестикулировала, пытаясь добиться от дочери информации о происхождении повреждений на лице.

Я подошёл к Стёпе, протянул ей руку и она серьёзно и с достоинством пожала её, но потом мы как-то неожиданно и резко приблизились друг к другу и поцеловались прямо на глазах у родителей, а они сделали такие лица, как будто бы увидели чёрта в ступе. Они были не просто удивлены, а, я бы сказал, изумлены. Я пообещал Стёпе непременно звонить, помахал рукой на прощание, и мы расстались.

Дома я в тот же день рассказал родителям всю историю с дедушкиным наследством, торжественно достал из своей дорожной сумки жестяную коробку, украшенную слегка побитой временем красивой картинкой, где весёлые гусары или кавалергарды в киверах и ментиках, с шашками и пиками в руках верхом на статных скакунах шли совершать свои теперь уже известные истории подвиги, открыл её... и родители ахнули...

Мы ещё долго перебирали и разглядывали монеты, удивляясь их прекрасной сохранности, и отец как любитель старины демонстрировал завидные нумизматические знания; вот это, говорил он, империял Николая III 1897 года, а это полуимпериял того же года... а вот червонец Александра III, а это – николаевский пятирублёвик...

Так мы просидели весь вечер, а потом я вспомнил про бумаги, которые остались у меня в кармане. Я достал их, и отец принялся разбирать завитушки незнакомого почерка. Это были письма, два письма.

В первом было написано:

«Дорогие батюшка и братишка Петюня!

Посылаю вам письмо с надёжным человеком, дабы не подвергать вас лишнему риску, коему возможно было бы подвергнуться, послав письмо государственною почтою. Батюшка, вы сами лучше моего знаете, какова стала наша страна, посему молю вас именем Господа нашего Иисуса Христа сжечь сие письмо немедленно по прочтении.

Хочу уведомить вас о нашем пути в Румынию в составе батальона полковника Стесселя. Наш обоз под общею командою генерала Васильева два дня шёл по тираспольскому шляху и мы уж не чаяли спастись. В эти дни еды у нас не было вовсе, мороз стоял просто небывалый, и у нас появилось много обмороженных. На окрестных пригорках мы постоянно видели красные отряды, которые пока что не нападали, а только следили за передвижениями обоза, опасаясь, видимо, нашего броневика.

На третий день мы наткнулись на какой-то безымянный посёлок, который встретил нас вооружёнными рабочими заслонами, и я предположил, что сей же час мы будем вынуждены вступить в бой. Но генерал Васильев, сберегая людей, приказал обойти посёлок стороною, чтобы избежать столкновения. Я не стану называть это трусостью, ибо боевых единиц в нашем обозе было совсем немного, – старшие кадеты числом сорок восемь человек, капитаны Реммерт, Зеневич, штабс-капитан Сидоров и полковник Рогойский, ну, и, конечно, младшие чины полковника Стесселя. Где-то впереди обоза шли ещё павлоградские гусары и сапёрная рота с четырьмя пулемётами, но они были далеко от нас.

Генерал Васильев приказал двигаться на соединение с отрядами генерала Бредова, который отступал к польской границе; догнав его арьергарды, можно было надеяться на спасение.

Второго февраля мы подошли к немецкой колонии Кандель, где приняли бой с превосходящими силами противника.

Батюшка, вы можете гордиться своими питомцами: мы победили в этом бою!

Красные теснили нас на всех позициях и мы уже прощались с жизнью под стеною старого немецкого кладбища, но пулемёты Никиты Волховитинова и Глеба Никольского спасли положение.

Пока мы сражались у кладбища, павлоградские гусары рубились с красной конницей на льду близлежащего озера, и много же трупов большевиков оставили они там под гудящею метелью!

Мы отразили несколько атак кряду, а потом и потеснили противника, который вскоре позорно бежал с поля боя.

У нас были раненые и убитые, но я чудом спасся от осколков и пуль. Потом мы ещё долго шли, неся своих раненых на руках, и через несколько дней подошли к румынской границе в районе села Раскайцы. Здесь румыны обстреляли нас, и раненых стало ещё больше.

Я знаю, батюшка, что вы ещё в Аккермане отправляли телеграмму королеве Марии с просьбой пропустить нас в Румынию, и в Раскайцах пограничники получили наконец разрешение от неё. Нас пропустили, и мы через время переместились в Королевство Югославию, где вскоре был создан Первый Русский кадетский корпус. Здесь мы сейчас и учимся, и в будущем году я надеюсь благополучно окончить курс.

Посему, батюшка, не извольте тужить обо мне... у меня всё хорошо, только очень скучаю по вам и Петюне, а также печалюсь о погибших под Канделем моих товарищах...

Хочу всенепременно повторить вам, батюшка, вы уж не пеняйте на мою дерзость: будьте так любезны, потрудитесь сжечь сие письмо немедленно по ознакомлении, чтобы сердце моё было покойно за вас и вашу будущую судьбу.

С не переменным почтением и безграничной любовью, остаюсь ваш верный сын, кадет 7-ого класса Первого Русского кадетского корпуса в Королевстве Югославия – Владимир Бернацкий. 25 сентября 1920 г.».

Второе письмо было совсем коротким.

«Многоуважаемый Пётр!

Пишу к вам по просьбе вашего брата, который завещал мне, как ближайшему другу своему, прошедшему вместе с ним сквозь горнило освободительной войны, сообщить вам о прискорбном происшествии, а лучше сказать – о трагическом исходе юной жизни, каковой исход имел место быть третьего дня в нашем Кадетском корпусе. Я, конечно, не мог предположить, что сия трагедия непременно произойдёт, но брат ваш, Володя Бернацкий, упреждал меня, что ежели случится с ним нечто выходящее из ряда, то я должен буду непременно сообщить вам о сём событии.

Что я и делаю, к своему прискорбию.

Итак, сообщаю вам: ваш брат, узнав третьего дня о том, что бывший директор Одесского кадетского корпуса, Владимир Александрович Бернацкий, служит большевикам, уединился в спальном помещении корпуса и застрелился из пистолета Люгер-Парабеллум в два часа пополудни.

Примите мои искренние соболезнования.

С совершенным почтением, кадет 7-ого класса Первого Русского кадетского корпуса в Королевстве Югославия – Иван Апраксин. 8 февраля 1921 г.»...

А теперь я сижу за компьютером и мне уже много-много лет; от прежней жизни остались у меня лишь воспоминания да почти нетронутое дедушкино наследство, к которому наша семья прикасалась только в самые тяжёлые, самые чёрные дни.

Давно уже нет Советского Союза, нет Советской власти, страна изменилась до неузнаваемости, – нет даже пионеров и пионерской организации... и пионерских лагерей тоже нет, а в нашей усадьбе, которая давно уже вошла в черту разросшегося города, нынче расположен банк... надо сказать, что господа банкиры сделали прекрасную научную реставрацию усадьбы и даже открыли из-под слоёв побелки роспись центрального плафона бального зала... перегородки, которые когда-то разделяли спальные помещения пионерских отрядов снесли, и теперь это просторное место служит операционным залом.

Старинная белая ротонда тоже стоит до сих пор и её тоже подновили, дубовые панели перебрали и те, которые были уже несколько потрачены временем, заменили. Между прочим, заменили среди других и четвёртую панель восьмого сегмента, скрывавшую когда-то дедушкино наследство... строители и реставраторы опоздали, я опередил их почти на тридцать лет...

Я туда езжу иногда, – в «свою усадьбу», – поскольку являюсь клиентом банка, и, когда сделаю дела, прогуливаюсь обычно по окрестностям, заглядываю в сильно разросшийся за десятилетия парк и обязательно пробираюсь к белой ротонде. Парк находится нынче за чертой усадьбы и принадлежит городу, – банку, видно, дорого показалось его выкупать, да и хорошо, а то не гулять бы мне по банковской территории. К слову сказать, банкиры купили у нашей семьи несколько картин моего деда и они украшают сейчас рабочие помещения банка, его кабинеты и стены операционного зала.

Родителей моих давно нет на свете, а первая моя любовь где-то далеко-далеко от меня, не знаю даже, где именно. Всего четыре года прошло с тех памятных дней, когда мы вместе переживали события в пионерском лагере, ей исполнилось восемнадцать и она неожиданно вышла замуж за студента из Чехословакии... тогда ещё было такое государство – Чехослова-

кия... До этого мы часто встречались и проводили много времени вместе, и вот я звоню ей как-то по телефону, а трубку снимает её мама.

– А Стёпы нет, – говорит она каким-то скучным и как бы виноватым голосом.

– А когда будет, вы не могли бы сказать? – ещё не ощущая подвоха, беспечно спрашиваю я.

– Теперь этого, Алёша, никто не знает, – говорит её мама с тяжёлым вздохом. – Она уехала... в Чехословакию... насовсем...

Я ничего не смог ответить на это; какие-то болезненные, неизвестно откуда пришедшие спазмы сдавили мне горло, глаза наполнились слезами и чувство горькой обиды охватило меня... Стёпы больше нет... я один... молодой ещё человек, потерявший судьбу, корни, традиции своей фамилии и вот теперь утративший ещё и свою первую любовь...

Чуть не полвека прошло с той поры, когда мы были счастливы и беспечны, когда мы дрались и влюблялись, отстаивали своё достоинство в непростых спорах и искали спрятанные сокровища, когда мы просто ловили рыбу, не подозревая в этом занятии никакого философского смысла, или собирали пахучую, дурманную малину, или шли под дождём, изо всех сил барабана по воде, скопившейся на поверхности барабана...

И вот сейчас я сижу за компьютером, достукивая последние строки этой повести, и слышу за своей спиной голос, который зовёт меня по имени, – шёпотом, тихо-тихо, едва слышно... но я не оборачиваюсь, я боюсь обернуться... может, меня зовёт из морозного марева тираспольского шляха Петя Бернацкий, маленький кадет двенадцати лет, голодный и замерзающий на ледяном ветру, или его старший брат Володя, застрелившийся в далёкой Югославии... а может, это голос моей Стёпы, веснушчатой, зеленоглазой, растворившейся на необъятных просторах мира... девочки, которую я поцеловал первый раз в жизни... шёпот шелестит у меня за спиной, я слышу своё имя, но не оборачиваюсь, я боюсь обернуться, стучу по клавишам и думаю: «Вдруг я сейчас обернусь, а там... там... никого нет... Никого нет...».

И не оборачиваюсь...

